

Гянджинцы потом рассказывали Листу, как акунд Пишнамаз был потрясен, когда узнал, что в его мечети оказался богочульник и что смельчак Вазех ученикам проповедует атеизм.

Подумать только, этот поэт на глазах у всех умудрился молла-хана превратить в школу атеизма.

Пишнамаз вне себя от ярости. С кафедрой мечети он предает Вазеха анафеме. Ему на том свете гореть и мучиться в вечном огне. Но надо постараться, чтобы и земное его существование было похуже ада. Его выгоняют с работы. Он обречен на полуголодное существование. Но страшнее нужды — фанатики-люди, у которых отключен разум. Отдав право думать за себя духовному отцу, они принимают на веру любое его утверждение. Легко управляемые, эти живые машины даже любят, презирают по указке. На поэта натавливают собак, а него швыряют камни.

— Я все тебе прощаю, толпа. Когда-нибудь ты распадешься на каждого, и каждый станет личностью! Тонко чувствующей и глубоко мыслящей личностью! И тогда каждый из вас поймет — я вам друг! А сейчас... Шафи усмехнулся. — В плодоносящее дерево всегда бросают палки и камни. Шафи покинул Гянджу. Лист не застал в Гяндже Вазеха.

Но через столько лет, в бессонную ночь, проведенную в Будапеште, он думал о южном городе и о его людях, и ему вдруг показалось, что он встретился и даже был близок знаком с поэтом.

Мир безмерно обеднел бы, если бы лишь гений стал носителем всего значительного, стоящего. Природа наделила красотою многое, в том числе и человека...

Людей же еще в придачу одарила способностью воспринимать все многообразие духовного богатства. А гений — счастливое сочетание одаренности с адской работоспособностью, которые помогают талантливой натуре в слове, в звуках, в красках, в других деяниях особенно сильно, ярко выявлять то духовное совершенство, которым в той или иной степени богат каждый из нас. В бессонную ночь, вспоминая знакомых ему гянджинцев, композитор в каждом из них искал и находил то, что должно было составить одну из черточек внешности или характера Вазеха, и так увлекся «извлечением» Шафи «из массы человеческого материала», что в конце концов «вылепил» из обрывков частей образ поэта, в который поверил, ему казалось: с ним он часто встречался и был даже близок знаком.

Из глубины памяти вдруг всплыли широко раскрытые, блестящие, но ничего не видящие глаза старухи. Слепая ткала ковры, вязала красочные джорабы. Суть вещей, очертания, их связи друг с другом, весь окружающий мир она видела лучше и глубже, чем многие зрячие.

Слепнуть она стала с детства. И с детства она ткет, вяжет. А когда бралась за спицы, зажигала лампу.

— Разве вы видите свет? — спросил тогда Лист.

— Я чувствую свет. — ответила она строгим голосом. — Когда я работаю в темноте, и краски на джорабах потухают. А так... искрятся, как лучи солнца.

Гости, потрясенные увиденным, молчали. Так случается, когда в будничной обстановке вдруг сталкиваешься с поразительным. Но как понять это близкое и чудное? Может, через внешность? В этой женщине ничего необычного нет. И кажется, в Гяндже встретишь такую старуху на каждой улице. Тогда, может быть, поступить иначе, так, как советует песня, что живет в Азербайджане.

Держишь камень за пазуху —

против друга —

Ты в этой гадости.

Или складываешь ковер,

улыбчивые паласы,

Ты в ковре, ты

в паласах.

Если хочешь познать меня,

глянь, что я делаю.

Мастер как на ладони, когда в работе, когда при гостях ткала джорабы.

Пальцы — само движение. Старое лицо вдруг осветилось и помолодело. А глаза, которые, казалось бы, должны внимательно следить за узорами, что вспыхивали на ткани, были обращены куда-то

вовнутрь, в душу художника, где живут эти краски, линии и их изощренные композиции.

Она ткала джорабы — шерстяные носки. Нет лучшей защиты ног от осенней сырости и стужи зимы. Они очень прочны и живут долго. Но популярность джорабов, которые ткала мастерица, заключалась в другом. Она обладала счастливой особенностью превращать в произведение искусства все, до чего ее рука дотрагивалась. Художественная щедрость скажется и в строительстве дворца, и в поэтической строке, и в такой житейской мелочи, как джорабы. Трудно словами передать всю захватывающую прелесть создания мастера. Они, как ковры, — та же пестрота красок, изощренная композиция. Они — праздник самых теплых красок, зелени, напоенных солнцем.

Но душа наполняется скорбью, когда присутствую-

ния, образовал искрящуюся лужицу из света.

Через круглое отверстие можно увидеть бездонное небо и кусочек облачка, оно белое, чистое, как шелковое одеяние невесты.

Ирония судьбы! Меньше древних, их святое место, ныне стоянка чабанов в непогоду. Ушло время, ушли люди и их верования; храм, потеряв свой прежний смысл, стал сараем.

Но что это? Одна из них окрашена в белое. Лист подошел поближе, заглянул во внутрь проема и ахнул: там стояла белая недогоревшая свеча. Под углублением — до света очищенный камень стены. На нем, как на бумаге, тушью выведены строки. О чем они? А что если... есть люди, которые склоняют колени перед прежними идолами? — Господин Лист, наш фазан готов, пора в дорогу, —



щие, оторвав взгляд от богатой ткани, оглядывают убогую утварь комнаты. Ковры мастера упирались локом богачей Гянджи, России, Европы, а сама она всю жизнь вела борьбу с нуждой. Трудно видеть старость, не имеющую покоя.

Листу напомнила Вазеха и другая встреча. Гостеприимные гянджинцы повезли его на озеро Гек-Гель. Но только выехали за город, как заскрипел фазан, остановился. Пока шокированный случившимся возница подковыкал колеса, они решили прогуляться немного. Решили устроиться на траве, но она оказалась мокрой: где-то рядом был источник. Уставшие от дороги и солнца, гянджинцы молча искали родник и, наконец, нашли его. И сразу преобразились их лица: голоса стали звонче, жесты ярче. Чистая холодная вода оказывала на азербайджанцев такое действие, словно она была живой водой. Так понимать ее и открыто радоваться могут только южане.

Чуть в стороне озерца. Мужчины скинули рубахи и стали плескаться. В воздухе, под солнцем засверкали капли. Падала вновь в озерцо, они издавали звук хрусталя!

Затем все устроились на небольшом камне, а Ференц пошел к древнему албанскому храму. Зодчий воздвиг его на скале, которая высится над дорогой. Строение сохранилось плохо: крыша в папахе из высокой травы, камни кое-где крошатся от прикосновения рук. Но как легко восстановить первоначальный вид храма, увидеть его таким, каким он представлялся путнику несколько тысяч лет назад. Легкий, возвышающийся над землей, он графически четко вырисовывался в чистом небе. Издалека казалось, что создание из камня парит в воздухе.

Лист вошел в храм. Внутри царил прохлад и полумрак. В углах и глубоких нишах давно поселилась тьма. Но из круглого отверстия высокого потолка спол ровных, блестящих, как хорошо отточенный нож, лучей, прорезав мглу в самой середине помеще-

улышав он новый голос Ибрагима.

Молодой человек стоял у входа. Прямые линии двери очень похожи на раму картины, на которой изображены мужчина и смеющееся небо.

— Вы знаете, здесь свеча и надписи.

Лист говорил почти полупрошепотом. Но зодчий так сложил свое творение, что человеческий голос, все тонкости и оттенки его, не потеряв ни одной краски и ноты тона, доходит в целостности до собеседника даже и в том случае, если тот стоит в другом, противоположном конце.

— Да, я знаю, — тихо, словно подпадал под настроение Листа, сказал Ибрагим. — Видно, здесь побывали последователи Вазеха. Они преклоняются перед прекрасным. Свеча, зажженная здесь, — дань уважения тому, кто в нашем мире, раздираемом страстями, противоречиями, в этом хаосе человеческих отношений сумел создать оазис гармонии и согласия.

Ибрагим подошел к музыканту, долго читал вязь, выведенную тушью, и сказал:

— Да, эти стихи Шафи. Вот послушайте:

Прекрасное нам даром

не дают.

Во всякой красоте —

борьба и труд

Венков готовых нам земля

не дарит —

Из сорванных цветков

венки плетут.

Алмаз, и тот готовым

не находят

Его, найдя, гранят,

шлифуют, трут.

— Гек-Гель отличное место для размышлений, — наконец, сказал Ибрагим. — У вас будет много времени поразмыслить там о красоте, о добре и зле.

Широкое лицо толстенького озярилось спокойной улыбкой человека, уверенного в правоте всего того, что он говорит и делает.

...И в самом деле, Гек-Гель поразили красотой и тем смыслом, который заключал в себе самом. Когда-то у подножия горы Кяпаз тянулась тонкая ленточка воды. Она так

узка, что ее можно легко перепрыгнуть. Речка вскрикивала от каждого удара об острые углы камней. Страшно шумела, когда в отчаянии бросалась со скал вниз, в пропасть. И все-таки она была довольна: пусть через тысячу препятствий, а все-таки ей удалось пробиться через каменные нагромождения Кавказа и выйти, наконец, на залитую солнцем просторную равнину.

Но речке судьба уготовила новое препятствие. Однажды всполошились горы, как мячики запрыгали гигантские скалы, в страшной лихорадке затряслась земля. Сдвинулся даже Кяпаз. Часть горы рухнула и закрыла дорогу воде. Тогда она вздулась, залила огромное пространство между возвышенностями. Итогом разрушения стало создание — родилось голубое озеро Гек-Гель.

Зло многоликое — оно то невед, делающий художника слепым, то стихия, то Пишнамаз. Море, боли, самые фантастические разрушения, изломы, искривления, вред — вот диапазон зла, вышедшего из-под контроля и потому пусть даже на время, но все-таки сильного. И все-таки оно, такое напористое, беспощадное, слабо перед нежной вязью рисунков на коврах мастера, перед красотой Гек-Геля, перед совершенной строкой Вазеха.

Объяснение тайны надо искать в людях, вольно или невольно стремящихся в беспорядочном мире вещей, красок, открытий системы согласования, закономерности, в какафонии звуков услышать музыку. Душа человека постоянно жаждет уйти от хаоса к гармонии. А добро всегда гармонично.

Гек-Гель, поэзия Шафи остается в памяти, если даже встреча с ними произошла лишь однажды. Тишина, располагающая к размышлениям, ровное сияние воды — ошеломляют. И чем впечатлительней, талантливей человек, тем глубже, плодотворнее воздействие на личность чистоты молчания, света озера.

Концерты Листа в Гяндже удивили многих: известный виртуоз, сторонник чрезмерностей, буквально утопающий в презыбных технических средствах, он теперь выводил вибрирующие звуковые построения, которые придавали его музыке оттенки мерцания и трепета чуткой зернистой глади горного озера. Вместо громких аккордов — фантастические финальные поэтические картины в звуках, по-мимпрессии прерывающиеся праздничная красочность цветов.

Такое ощущение, словно Лист изменил угол зрения. «Когда, например, он прежде изображал на рояле грозу, — напишет затем пораженный метаморфозой, которая произошла с артистом, поэт Генрих Гейне, — мы видели молнии, сверкающие на его лице, он весь дрожал — точно от порыва бури, и длинные космы волос словно струились наплывами от только что сыгранного лирия. Теперь, даже когда он разыгрывает самую могучую грозу, сам он весь же возвышается над нею, как путник, стоящий на вершине горы во время грозы в долине. Тучи собираются там, глубоко внизу, молнии, точно змеи, извиваются у его ног, а он с улыбкой вздымает лицо в чистое небо».

Лист ломает собственные стереотипы и играет по-другому. Демон постепенно перерождается в ангела. До конца дней теперь в его музыке будет жить покой.

Рассвело. За окном все яростнее контуры зданий Будапешта. Композитор опустился на стул у рояля. Мазон за мазном, и вот вырисовываются целые поэтические полотна.

...Южный город, затопленный жаркими лучами солнца.

...Гладь воды горного озера — гигантское зеркало, на котором изображение лица любимой.

Полные губы Ференца Листа напевают слова нового романа:

Хотел тебе венок

сплести я,

Но роз нигде не мог

найти я

Вот пышный я собрал

букет,

Но нет тебя,

теперь уж нет.

25 июля 1973 г.